



Анатолий Бергер
Елена Фролова

ГОРЕСТЬ НЕИЗРЕЧЕННАЯ

Санкт-Петербург
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
2014

**Анатолий Бергер
Елена Фролова
Горесть неизреченная
(сборник)**

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=20973716

*Анатолий Бергер, Елена Фролова Горесть неизреченная: Региональный
издательский дом; СПб; 2014
ISBN 978-5-9905451-4-4*

Аннотация

«Горесть неизреченная» – одиннадцатая книга поэта Анатолия Бергера и вторая книга его жены – театроведа и журналиста Елены Фроловой. 15 мая 1959 года, через три месяца после свадьбы Бергер был арестован и осуждён за свои произведения по статье 70 УК РСФСР на 4 года лагеря и 2 ссылки. В этой книге нашёл отражение «личный ГУЛАГ» поэта – рассказы и воспоминания о подавлении в стране всего живого и науке выживания. Судьбы, судьбы. Солагерники, грузчики из сибирского посёлка Курагино. Живыми мазками на страницах запечатлены картины детства и юности, жизнь после срока, с новым «сроком» – запретом на печатание. Заметки Елены Фроловой о её «горести» по ту сторону колючей проволоки, о ссылке в Сибири, которую она разделила

с мужем, о детстве и юности во Львове, о новой жизни после перестройки.

Содержание

Экзамен на человека	7
Состав преступления	13
Арест	31
Двенадцать сокамерников	38
Конец ознакомительного фрагмента.	55



**Анатолий Бергер,
Елена Фролова
Горесть неизреченная**

А. Бергер. текст, 2014

Е. Фролова, текст, 2014

В. Киселёв, рисунки

© ЗАО «РИД», 2014

Экзамен на человека

Среди доверенных летописцев народного горя и авторы этой книги. Начал Александр Солженицын. Следом Варлам Шаламов, Юрий Домбровский и другие.

Личный ГУЛАГ Анатолия Бергера начался с апреля 1969 года и продолжался до декабря 1974 года.

В книге – с первых строк стихов и прозы – это голоса из глубин народных, это говорит народ от всей души и неугаваемой памяти.

Конец 60-х годов. После недолгой «оттепели» начались новые «заморозки». Арест Синявского и Даниэля. Жестокий запрет наложен на правду. Безжалостно пресекалось настойчивое стремление разобраться как и почему ЭТО произошло в России, почему ЭТО происходит сейчас. Елена Фролова говорит в заключительных главах книги «Что за такие мысли не похвалят мы, разумеется, знали. Но Синявский и Даниэль печатали свои произведения за границей».

А оказалось, что и стихи в тетрадах в письменном столе могут стать составом преступления, что за них Анатолия Бергера как особо опасного преступника приговорили по статье семидесятой УК РСФР к 4 годам лагеря и 2 годам ссылки.

Книга прозы начинается с описания допроса. А там – погружение – и надолго в тюремную жизнь. Стихи сопровож-

дают этот сюжет с начала и до конца.

Бытовое точное изображение процедуры ареста, лаконичные, но сильные и глубокие портреты сокамерников. Это особая порода людей, выведенная в советских условиях. И это особая – советская ситуация, когда почти любой мог бы оказаться на этом месте.

В лагере автор увидел более подлинный мир, чем на воле. И геройство не в том, что отсидел, а в том, как сидел.

В повествовании А.Бергера самое ценное – это личная, «лирическая» документальность. Она проходит через всю книгу. Поразительно глубокое нравственное понимание и сострадание автора при встрече с литовцами. Чувство «трагической партизанщины обречённого народа», понимание тех, кто отстаивал свободу против насилия. Это открывает трагический, но спасительный путь: нужно быть людьми и в лагере! Лагерь – это путь иной судьбы, но в чём-то проверяющий истины жизни.

И в то же время «сама неестественность подобного человеческого поселения, этого «усечённого» бытия порождает в душах людей фантастическое и призрачное, изгибает психику. Я и себя ловил иногда на таких изгибах», – пишет Анатолий Бергер.

Многие события российской истории, хоть и неназванные, проступают за сюжетом о гибели душ человеческих. И сколько горькой, выстраданной правды в этих судьбах, показанных историей. Чуткая и отзывчивая наблюдательность,

сострадание, а не только осуждение не выдержавших испытаний. «Это тоже была Россия – тёмная, мрачная, злобная, жалкая, сходящая на нет». Это очень глубоко и точно написано. Умение видеть вглубь – вот что важно.

Главная мысль, с которой нельзя не согласиться: лагерь на поверку оказывается концентрацией современного мира, грубо и открыто высвечивая то, что бродит в сумерках души нынешнего человека.

Цитировать хочется с каждой страницы. Порою проза переходит в социально-психологическое исследование. Потом снова перед нами дневник наблюдений, встреча.

И тут хочется сказать о том, что книга Анатолия Бергера и Елены Фроловой – это «опыт» преодоления, это школа стойкости, это погружение в спасительную «энергетику» жизни. Никоим образом не капитуляция перед любым «многоопытным» насилием. Но духовное, душевное противостояние ему.

Вот почему сюжет этой книги надо проследивать до конца.

Этап. Бергера как особо опасного преступника должны были содержать отдельно от уголовников. И всё-таки уголовный мир открывался полнее. И у автора – с одной стороны – «ужаснее в жизни своей я ничего не встречал. Вот что люди могут сделать с людьми». И – на той же странице – из души возникшее светлое желание писать стихи. Поиски карандаша в камере – одно из лучших мест в книге. «Конечно, его

не было. Но душа моя взмолилась всей силой о карандаше. Господи, как я хотел найти его! Под кроватями, среди тёмных, цепких их пружин, на батарее, на окне, на столе, под столом... Ведь нужно же мне! И потрясён был до глубины сердца, вдруг увидев огрызок карандашный в проёме между одной из ножек стола... Я долго хранил его... Несколько стихов в пути начирикал я этим карандашиком». Эти стихи тоже есть в книге.

Какое словесно воскрешенное переживание, как это искусно и захватывающе.

Сибирь – трудная и много-разнолюдная. И опять умение слышать речь других, помнить и ценить её. Автор и сам владеет речью родной, настоящей.

И снова – стихи. И после них «О Сибири вспоминать не в печаль, хоть и ссыльная и чужая, а вошла в душу».

Люди «на воле» сопротивляются насилию сверху. Например, не все хотят быть «стукачами». Хотя это порой очень трудно: идёт жестокое внушение «круговой поруки подлости».

И всё же это воля. И побеждает в ней душа народная.

Да, за давними десятилетиями, за отдалёнными от наших дней судьбами не так много и переменилось. Лишь открытые политические противоречия заменились чаще всего искусственными товарными, приспособленческими, потребительскими.

У книги есть несколько источников: и непосредственные

переживания, и взгляд в пространство жизни за пределами тюремной камеры, и собственное истолкование судеб на этом скрещении миров.

Автор, по службе выполняющий должность страхового агента, встречаясь со многими, видел многое, разное, незабываемое. Видел, как сопротивляется народ своим долготерпением чиновничьему насилию. «Всё это жаль разматывать в мимолётных записках, об этом хочется писать подробно... Надеюсь, когда-нибудь я это сумею». И мы, читатели, тоже надеемся. И всё же – немало сказанного тоже «полновесно». Похоже, сумел-таки!

В целом текст производит такое впечатление, потому что он написан точными пережитыми словами, не словом – а хочется сказать – явлен вживе, воочию. Это великолепная проза – горькая и точная.

...Вот так приближается Анатолий Бергер к завершению: «Через несколько месяцев в декабре кончилась моя ссылка. Ленинград превратился в явь».

И тут в сюжет книг вступает жена Анатолия Бергера Елена Фролова. Тут её взгляд на пережитое – «по другую сторону колючей проволоки».

«16 января 1969 года мы поженились... А 15 апреля пришли ОНИ...» И дальше о том, как гэбисты состряпали «Дело» Бергера. «Не истина устанавливалась, – пишет Елена Фролова, – доводы абсолютно ничего не значили для следователя».

Весь текст Елены Фроловой (особенно допросы в Большом Доме) – это документ времени. Мучительность лагерных свиданий. Сибирские встречи. Всё это очень достоверно, точно, выразительно. И просто.

«Поэма «Горесть неизреченная» и две автобиографии авторов – тоже судьбы и тоже время.

И последнее, что нужно сказать об этой книге. Нашему времени нужна целительная правда о пережитом. Путь каждого из нас, путь народа и человека продолжается. И на этом пути опыт Анатолия Бергера и Елены Фроловой спасителен. И поэтому необходим каждому. А нас – много!

*В.Акимов,
доктор филологических наук*

Состав преступления

СТАТЬЯ 70. Антисоветская агитация и пропаганда

Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания – наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или ссылкой на срок от двух до пяти лет.

Уголовный кодекс РСФСР

Кнут солёный, жаровня, дыба,
Да скрежещет перо дьяка.
И за то, знать, Руси спасибо,
Что стоит на этом века.

Что её – волчий взгляд Малюты,
Беспощадная длань Петра,

И гражданские злые смуты,
И советских казней пора.

Что сынов её – пуля-слава,
Вышка лагерная – судьба,
И приветствовала расправы
Раболепная голытьба.

Но сынам ли считать ушибы,
Им ли слёзы лить на Руси?
Ох, спасибо же ей, спасибо,
Спаси Бог её, Бог спаси.

1966

Декабрист

Отчизны милой Божья суть,
Я за тебя один ответчик,
Легко ли мне себя распнуть
Той, царской, площадной картечью?
Легко ли на помосте том
С петлёю скользкою на шее
Ловить предсмертный воздух ртом,
От безысходности шалея?

Легко ль в сибирских тех снегах,
В непроходимых буреломах
Знать, что затерянный мой прах
Не вспомнит, не найдёт потомок?

Легко ль провидеть, что пройдут
Года, пребудут дни лихие.
Нас вызовут на страшный суд
Дел, судеб и мытарств России,

И нашим именем трубя,
На праведном ловя нас слове,
Отчизна милая, тебя
Затопят всю морями крови.

Свободу порубив сплеча,

Безвинных истребят без счёта,
И снова юность сгоряча
Возжаждает переворота.

Легко ль нам знать из нашей тьмы,
Когда падёт топор с размаху,
Что ей пример и вера мы,
И мы же ладили ей плаху.

1966

Эмигрантам

Вот надписи надгробий,
Посмертная трава,
Родной земли подобье,
Но нету с ней родства.

В её круговороте
Среди ростков, корней,
Пути монаршей плоти
И голубых кровей.

Изгнания жребий страшен —
Кровь между строк видна:
«За честь России павшим
В крутые времена»,

Когда в слепом размахе,
всё дотла
С наганом и в папахе
Судьба России шла,

Лихи её порядки —
Нужда, неправда, тьма,
А побеждённым в схватке —
Чужбина, смерть, тюрьма.

Пришлось с чужим народом,
В чужом варясь котле,
«Под чуждым небосводом»
И на чужой земле

Испить Христову чашу...
Но светят строки те:
«За честь России павшим...» —
На мраморной плите.

1966

* * *

Народовольческую дурь
Забудь, великая держава,
Побалагань, побалагурь,
Твои ведь сила, власть и право.

Ничьё перо уж не клеймит
Устои нового порядка,
Сей грандиозный монолит
Не тронет пуля иль взрывчатка.

Нет прокламаций, баррикад,
Нет эшафота над толпою,
Пустеет грозный каземат

Над невской сумрачной водою.

Колоколам уж не греметь,
И церковь изредка маячит,
Монарх, преображённый в медь,
Навек теперь в былое скачет.

Всё, как написано в трудах
Вождей, и доводы на всё есть —
Сперва за совесть, не за страх,
Потом за страх, а не за совесть.

Зато ни штормов и ни бурь,
Хоть лагеря, расстрелы, пытки...
Что ж, не ропщи, ведь ропот – дурь.
России прошлой пережитки.

1966

Народное

Раскулачили страну —
Хоть в кулак свисти,
И на ком искать вину,
Господи, прости!

Нависали над страной
Грузные усы,
Стал грузин всему виной,
Господи, спаси!

Русь в бараний рог согнул,
Страхи да суды,
Дым заводов, грохот, гул
Стройки и страды.

Всё на жилах кровяных,
На седьмом поту,
Сухарях да щах пустых,
Аж неумоготу.

Коли слово поперёк —
Умолкай в земле,
Властью был отвергнут Бог,
Идол жил в Кремле.

Ох, Россия, край-беда,
Смутен путь и крут,
И тридцатые года
За спиной встают.

1966

* * *

Твою красу святую
В те дни предав огню,
Ярясь, напропалую
Губили на корню.

На всю страну, в охотку
Ей вышибая дух,
Надсаживая глотку,
Тот красный пел петух.

И в пламени и вое,
Свершая самосуд,
Шёл с пьяной матроснёю
Мужицкий тёмный люд.

Над родиной сожжённой
Глумясь, как упыри,
Рубили в прах иконы,

Крушили алтари.

Ломили до победы,
Костили, били, жгли
Всё то, что их же деды
Когда-то возвели.

1968

* * *

Эсеровский переворот
Военною грозой гремел,
В нём стук копыт и пуль полёт,
Атаки крик и артобстрел.

В глухой ночи штыки застав,
На тёмных улицах войска,
В руках восставших телеграф,
Электростанция, ЧЕКА.

И поруганью предан Брест,
Вожди эсеров у руля,
И взят Дзержинский под арест,
И час до взятия Кремля.

Неужто ночь и пушек гром —

Судьба России на века?
Под чьим ей гибнуть сапогом —
Эсера иль большевика?

1968

Памяти Ключева

Страну лихорадило в гуле
Страды и слепой похвальбы,
Доносы, и пытки, и пули
Чернели изнанкой судьбы.

Дымились от лести доклады,
Колхозника голод крутил,
Стучали охраны приклады,
И тесно земле от могил.

И нити вели кровавые
В Москву и терялись в Кремле,
И не было больше России
На сталинской русской земле.

И Ключев, пропавший во мраке
Советских тридцатых годов,
На станции умер в бараке,
И сгинули свитки стихов.

Навек азиатские щёлки
Зажмурил, бородку задрал,
И канул в глухом кривотолке,
Преданием призрачным став.



Бессеребренник-трудяга
В полинявшем пиджачке
И без курева – ни шагу,
Ты со мной накоротке.

И с глубокою затяжкой,
Весь в мутнеющем дыму
О былой године тяжкой
Говоришь мне потому,

Что кровавой крутовертью
Был закручен и кругом
Видел страх, аресты, смерти,
Ложь на истине верхом,

И усатого владыки
Костоломный стук подков,
И как все его языки
Славили на сто ладов,

Слышал. И руками машешь,
С криком дёргаешь плечом,

Весь в дыму и пепле пляшешь,
Что, мол, сам был ни при чём,

Что пора минула злая,
И враги клеветуют, лгут,
Что нельзя судить, не зная,
Есть на то партийный суд,

Что вернуться к прошлым векам
Не придётся. Стон умолк,
Но сломать хребтину чехам,
Как сломали венграм – долг,

Что глупа к свободе тяга.
Вновь рассыпался в руке
В прах окурков. Эх, трудяга
В полинявшем пиджачке.

1968

* * *

Знаю, дней твоих, Россия,
Нелегка стезя,
Но и в эти дни крутые
Без тебя нельзя.

Ну, а мне готова плаха
Да глухой погост
Во все дни – от Мономаха
И до красных звёзд.

И судьбины злой иль милой
Мне не выбирать,
И за то, что подарила —
В землю, исполать.

Кто за проволокою ржавой,
Кто в петлю кадык —
Вот моей предтечи славы
И моих вериг.

Не искали вскользь обхода,
Шли, как Бог велел,
И в преданиях народа
Высота их дел.

Погибая в дни лихие,
Оттого в чести,
Что не кинули, Россия,
Твоего пути.

1967

* * *

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РСФСР

103289, Москва, пл. Куйбышева, д. 3/7

21.01.91 № 5908 по 90пр

на № _____

СПРАВКА

Постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 26 декабря 1990 года приговор Ленинградского городского суда от 15 декабря 1969 года в отношении Бергера Анатолия Соломоновича 1938 года рождения, отменен и дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Гр-н Бергер А.С. по настоящему делу реабилитирован.

Согласно материалам дела Бергер А.С. до ареста работал старшим товароведом отдела информации Северо-Западной конторы "Академкнига".

Председатель Верховного
Суда РСФСР

В.М. Лебедев



В.М. Лебедев

Итс.



Мне советской не надо славы,
Я ищу на неё управы
За лихие её дела,
За растленное ею слово,
За распятое всего живого,
За сердца, что выжгла дотла.

За ночные слепые страхи.
Те – смирительные – рубахи,
Смертный мрак наведённых дул,
И глумящихся толп разгул.

Да, крутые у нас с ней счёты,
Рассудили бы нас пулемёты,
Но не равен уж больно спор,
У неё – лагеря, ракеты,
Подставные суды, газеты,
У меня – лишь строка в упор.

1968

Арест

Та весна мучила недаром. В душе была недосказанность и смута; я говорил друзьям, что меня одолевают предчувствия. А стихи шли удачно, светло, будто вернулся 1962 год. Это меня и настораживало: песня давней той поры оборвалась на армейском плацу; затерялась в свисте заполярных метелей. Притом каждый стих даже интонацией звучал, как пророчество. В довершение – десятого апреля мне приснился сон страшный, как беда. Привиделось, что я в своей комнате обнаруживаю снаряд и смаху выбрасываю его в открытое окно. На улице раздается взрыв, крики, стон, и я с ужасным замиранием сердца жду расплаты. Проснулся я, как потерянный, и целый день ходил с камнем на сердце. Я рассказал об этом сну отцу, матери, потом жене. Но как быть с предчувствиями? В них загадки, а не разгадки.

Ни стихи, ни сны ничего не могли поделать. Проклятая реальность была за углом.

Пятнадцатого апреля в квартирную тишину утра ворвался звонок. Вошедшие люди – они были тёмные и глухоголовые – заполнили комнату. «Нам нужен Анатолий Бергер». Я был нездоров тогда, накануне в поликлинике продлил бюллетень, на ночь мне делали горчичники. Я привстал на кровати. В ордере на обыск меня подозревали в сношениях с неким Мальчевским, о котором я слышал впервые. Начал-

ся обыск. Обыскивали вещи, простукивали стены. Открыли пианино и совались в переплетение его музыкальных рёбер и жил. Отца не было дома, мама, посеревшая лицом, молчала. Я поймал её взгляд – огромный и стонущий. Жена села рядом со мной на кровати, обняла за плечи. Меня снедала тревога. Я спорил с темнеющими по комнате людьми, говорил о недоразумении, о том, что детективное и дефективное недаром подобны на слух. Телефон отключили, перед тем, как пустить меня в туалет, обыскали. Мне предложили ехать на Литейный для выяснения. Не веря ещё во всю силу несчастья, я согласился. Я даже не взял из дома денег, даже не попрощался по-настоящему с мамой и женой. Я только помаhal им рукой. «Победа» повезла меня прочь от дома. Обыск продолжался.

Дорогой я смотрел на город, но не прощально, как из армейского автобуса. Я ещё не верил в беду. Почему-то в сердце запело на миг горделивое сиянье. Но это было недолго.

Коридоры КГБ мало чем отличались от коридоров других учреждений, и снующие люди, и хлопающие двери были как всюду. Меня ввели в кабинет под номером десять. Допрашивал меня капитан по фамилии Кислых. И кабинет был скучен и хмур, как в любом учреждении, только на окнах чернели решётки. Меня спрашивали о друзьях, об их занятиях. Но чаще других – о Коле Брауне. Это меня внутренне задело, я что-то почуял, но так отдалённо! За эти ответы мне не стыдно. Кислых укорял меня в неоткровенности. Я

заметил, что он нажимал кнопку на столе, отчего приходил другой человек на смену, в одиночестве меня не оставляли. Все вели себя по-разному. Один молчал, углубившись в бумаги. Другой – белобрысый в модной японской куртке – вёл любовный разговор по телефону. Мне запомнилась фраза: «Галочка, я Вас категорически приветствую». Меня она сходно резанула неприятной чужеродностью. Сторожил меня и кто-то грубый с кряжистым лицом, он сказал мне: «Это тебе не в компании болтать, подвыпив». Я ему резко возражал. Я отказался сидеть за столиком у двери и сидел или лежал на плотном чёрном диване. В середине дня Кислых принёс стакан простокваши, стакан чая, кусок свежей колбасы и булочку. Я томился. Я требовал отпустить меня, и шорох каждого троллейбуса воспринимал как благую весть. Я только в глубине сердца думал о своих тетрадях в письменном столе, и они словно бы давили на меня своей тяжестью. Но я не верил, что их тяжесть утянет меня на дно. Я ещё надеялся. А сторожа менялись всё чаще. Я устал. Я у каждого из них спрашивал, скоро ли меня отпустят. И они уныло обнадеживали меня, а я всё прислушивался к шороху троллейбусов, к рокоту проводов за окном. Приближалась ночь, и я мечтал попасть домой хотя бы к двенадцати часам. Я представлял волнение родных. И главное – я всё надеялся, я не мог оставить надежду. Как наивно всё это было!

Молодой следователь при мне принёс мешок с чьими-то рукописями. Они тряслись в мешке, как живые. Он бросил

свой улов в шкаф. Вид у него был довольный, как у ловкого рыбака. Я чувствовал, что происходит тёмное и постыдное – и здесь, и со мной, и рядом. И всё равно надеялся.

Наконец, без двадцати двенадцать меня завели в какую-то комнату, и Кислых сразу предъявил мне 70-ю статью. Строки этой статьи об изготовлении и хранении оглушили меня, как взрывная волна. Едва я дочитал их, за спиной моей послышался топот сапог и стук прикладов. Я увидел двух солдат с карабинами. Это было уже безоговорочно страшно. Я понял, что час мой пробил. Меня повели в тюрьму.

Дорогой я просился в туалет, а конвойные отвечали, что там есть всё. Я ещё не понимал тогда, что это значит. Шли мы гулко, временами слышался по сторонам скрежет. Стали подниматься вверх. Железная лестница дрожала от каждого шага. Наконец, мы остановились. Один из конвойных вынул связку тяжёлых ключей. Тайна скрежета в коридорах открылась мне.

Я впервые в жизни увидел тюремную камеру. По стенам стояли две койки. На одной из них лежал человек. Маленькое окошко было зарешечено, а изнутри ещё прикрыто какой-то вертушкой вроде вентилятора. Под окном в стенной выемке выпукло виднелись трубы отопления, и слева от них чернел стульчак туалета. Дверь задвинулась, проскрежетали ключи, чёрный глазок в двери мелькнул человеческим глазом и снова закрылся. Сокамерник привстал на койке. Он был лыс и печален. Я спросил: «Как, туалет прямо

здесь?» Он грустно подтвердил. Затем освободил мне табуретку, чтобы я смог повесить свою одежду. Мы не сказали двух слов, как открылась впадина под глазком и лицо надзирателя, показавшись в железном прямоугольнике, сердито покосилось на нас и, сказав: «Отбой. Кончай разговоры!», исчезло. На моей койке не было белья. Она серела в тусклом свете голой лампочки, торчащей над дверью. Я лёг и устался на лампочку. Шла первая ночь заточения.

* * *

Что случилось, что же случилось —
С телом впрямь душа разлучилась
В ту проклятую ночь, когда
Била в колокола беда,
И железно койка скрипела,
И краснела лампа, дрожа,
А душа покинула тело —
Не увидели сторожа.
И ключи в замках громыхали,
И гудели шаги вокруг.
Чьи-то шёпоты то вздыхали,
То опять пропадали вдруг...

Лене

Вышла замуж за тюрьму
Да за лагерные вышки —
Будешь знать не понаслышке —
Что, и как, и почему.

И в бессоннице глухой,
В одинокой злой постели
Ты представишь и метели,
И бараки, и конвой.

Век двадцатый – на мороз
Марш с киркой, поэт гонимый!
Годы «строгого режима»:
Слово против – дуло в нос.

Но не бойся – то и честь,
И положено поэту
Вынести судьбину эту,
Коль в строке бессмертье есть.

Только жаль мне слёз твоих
И невыносимой боли
От разлучной той недоли,
От того, что жребий лих.

1970,
Тюрьма КГБ, Литейный, 4



Двенадцать сокамерников

У меня было двенадцать сокамерников – один за одним, правда, как-то раз двое вместе. Это за время следствия и после – до отправки в лагерь. На пересылке случались другие, но ненадолго. В тюрьме же всё было внове и запомнилось жёстче.

Самый первый – Владимир Абрамович С, полноватый человек средних лет, лысый, с мягким печальным взглядом. Встретил он меня по-доброму, подвинул мне табуретку, на которую я повесил одежду, – наступала уже ночь. Наутро мы разговорились. Он служил администратором Ленконцерта, был любителем книг и женщин, жил в своё удовольствие один. Таких я встречал в жизни не раз. Как-то так совпало, что и Ходасевича он ценил, и Замятина, и стихами моими стал восторгаться, всё это меня к нему расположило, и советам его я внимал с открытой душой. Да и что с меня взять – с новичка, только что глотнувшего сырой воздух кэгэбешной камеры и полузадохнувшегося. Поэтому его уговоры смириться, раскаяться, быть откровенным, сохранить себя, сбросить для грядущего творчества – его уговоры достигали цели. Только потом я понял, что не зря он сидел со мной, не зря оказался первым, не случайно любил Ходасевича, как и я (что следствию было известно).

Да и «легенда» его, говоря по-тюремному, была шита бе-

лыми нитками, но я, ещё не вооруженный эковским зрением, этого не углядел. Он, по его словам, в букинистическом магазине на Литейном познакомился с американцем, собирающим прижизненные издания русских классиков, разговорился, вызвался помочь что-то там приобрести. Встретились, пошли гулять по набережной Невы неподалеку от Горного института и там, у гранитного парапета, попросил американец Владимира Абрамовича сфотографировать его на память, протянул свой превосходный фотоаппарат. Только он прилачился – бац, набежали дружинники, схватили Владимира Абрамовича, вырвали фотоаппарат, от которого американец тут же отсекся в пользу, так сказать, своего нового друга, и повели под белы ручки в тюрьму. Зачем снимал военный объект (там Балтийский завод торчал вдалеке) и вообще зачем с иностранцем по городу ходит? Записную книжку отняли, а у всякого интеллигента записная книжка – готовое свидетельство преступления, что-нибудь да найдется в ней антисоветское, и не отбояриться: «Это вы считаете, что нет ничего крамольного, а мы считаем, что есть». И всё. Садись на железную койку, скрипи ржавыми пружинами, взглядывай на белый свет сквозь жёсткие, как неволя, жалюзи. Клеили ему 64-ю – измена Родине, а иностранца сразу отпустили.

Если даже это всё правда что с ним случилось, уж очень как-то складно, как по-писаному, а дело было весной 69-го, все-таки не 37-й год. Не знаю, посадили его ко мне как «на-

седку» или действительно сидел он по-настоящему, и посулили ему смягчение участи, если меня охмурить, но уже 27 апреля (а сел он, по его словам, 11 апреля) выпустили его на волю, вернули записную книжку, и пошёл он снова в свой Ленконцерт.

Потом, в конце 70-х, встретил его на Невском, больной он стал, старый, но прятал, прятал свои мягкие участливые глаза. Вскоре умер он от инфаркта, но не шестнадцать тюремных дней были тому причиной. Может быть, нечистая совесть, а скорее всего, просто изношенное суетливой жизнью администратора Ленконцерта холостое мужское тело – тело любителя книг и женщин.

* * *

Вторым был тоже Абрамович, имя его забыл. Он являл собой часто встречающийся тип еврейского инженера-производственника – дельного, хорошо работающего свою работу, «технаря», как принято говорить. Такие люди читают больше газеты, иногда что-нибудь очень уж громкое в журналах, поэзию, как правило, не знают и не любят, хотя помнят несколько современных имен, что на слуху, и, конечно, классиков школьной программы. Жизнь у таких людей чаще всего под стать их суховатому, малоприметному облику – суховатая и малоприметная для чужого скользящего взгляда. Жёны их похожи на них – усталые, замотанные женщины, за-

нятые нередко на том же предприятии, или врачи, учительницы, бухгалтерши. Но дети непредсказуемы – могут и в поэты пойти, и в художники, и вообще куда угодно. Эти «технари» – особая порода людей, выведенная в советских условиях, одинаково готовая и на извечный подъяремный труд, и на отчаянное диссидентство, и на что-нибудь ещё. Когда я увидел своего нового сокамерника, я сразу всё это про него понял, и дальнейшее мало расходилось с моим представлением. Правда, жены не было, но была постоянная прочная связь по месту работы, что мало отличается от обычного супружества.

А попал он, по его словам, так. Вез с работы важные документы, по дороге зашёл в ателье отдать в починку одежду (или, наоборот, взять из починки – неважно), сел там в кресло, портфель рядом; выходя, забыл, вспомнил позже, прибежал, а портфель – поминай как звали. Не сберёг государственную тайну. Тюрьма КГБ – Литейный, 4. Грозил стать не такая страшная, как 64-я – измена Родине, но тоже не сахар – разглашение государственной тайны или преступная халатность, что-то в этом роде. Меня он сухо, трезво и арифметически точно убеждал каяться, всё рассказывать, что спрашивают, не раздражать попусту следствие. Очень скоро, дней через десять, его выпустили, – тайна, якобы, утратила свою таинственность, он снова стал нормальным советским инженером, и можно было его отправлять в шумящий за смутными тюремными форточками город Ленин-

град, больше чем наполовину состоящий из таких вот инженеров, техников, плановиков, бухгалтеров, врачей и учителей, каждый из которых хоть завтра, хоть через год мог попасть в кэгэбешную камеру и остаться в ней надолго или быть выпущенным через несколько недель на своё великое счастье и на великий страх на всю оставшуюся жизнь.

* * *

Третьим был армянин, мелкий мошенник, имя его забыл – маленький, щупленький, весь какой-то остренький, насто-роженный и злой. Лет ему было слегка за двадцать, но потрепанный, поизношенный суетливой мазуриковой жизнью, выглядел он постарше. Светило ему по его уголовке немного, и держался он привычно, знал, куда попал и за что. В Питере он обретался сравнительно недавно, женился на русской девочке, говорил о ней ласково, показывал фотографии, читал её письма в тюрьму, милые, участливые. Она не жаловалась, но как бы сквозь сдержанные слёзы писала: «Хоть пока что отдохну по-женски». Но, когда он читал мне эти письма, лицо его всё равно оставалось жёстко-остреньким, злым и настороженным. Несмотря на молодость, был он уже опытным, битым, знающим – что почём в жизни. О моих двух предыдущих сокамерниках, абрамовичах, как он их звал, мне сразу сказал – стукачи, насадки, следствием подсаженные, чтобы ты раскололся, в сознанке был. «Дело твоё пустое, ты же

не фабрику поджёт, но быстро не выпустят, в когтях ты уже, не вырвешься». Я и сам это понимал, абрамовичи, упорхнувшие, как воробьи в тюремную форточку, рядом не чирикали, не наводили тень на плетень. Армянин же советовал мне говорить поменьше: чем меньше скажешь – тем меньше эпизодов накрутят. Но было уже поздно – попался бы он мне сначала. Да ведь КГБ знал, что делал, знал, кого подсунуть новичку.

Сам он говорил мало, о мошеннических своих проделках не распространялся, больше вспоминал, как завтракал в «Астории» перед выходом на «работу», и эти воспоминания утешали его, да он и не плакался на судьбу.

«Лучше так жить, как я, а там уж как случится. Я-то знаю, за что сел, есть что вспомнить». – «А жена молодая?» – спрашивал я. – «А её дело такое – ждать, пока выйду. Я ей много оставил – дождётся», – говорил он своим острым присвистывающим голосом. «Что ты всё присвистываешь?» – спросил я его. – «Да гайморит, нос простуженный всю дорогу, никак не вылечу: мусора всё мешают».

Так и сидели мы с ним, но недолго совсем – одну неделю. И скрылся он за дверью со своим узелком, со своим присвистывающим голосом и фотографиями ждущей дни и ночи молодой жены.

О четвёртом наберётся у меня слов немного, потому что сидел он со мной дня три. Это был парень лет девятнадцати, а то и меньше, среднего роста, белобрысый, полнолицый, с туповатым взглядом и медленными движениями. Очень любил он поест и притом прихватить чужого. Однажды, уходя на допрос, оставил я несколько пряников, присланных из дома, на тумбочке; вернувшись, их не обнаружил. Я спросил его. «А в тюрьме коммунизм, тут закон такой – всё общее», – сказал он убеждённо.

Попал он, по его словам, за то, что, якобы, избил хулигана, изнасиловавшего девочку где-то на реке, в глухом месте. «Вышла из кустов, рубаха порвана, по ногам кровь течёт, плачет. А я парнишка физически развитый, догнал мужика – и по голове, да ногами». Как-то не похоже это было на него. Такие как раз и насилюют девочек в кустах, а потом те выходят оттуда разодранные, в крови и слезах. Много таких белобрысых да низколобых по питерским дворам тусуется да в подъездах маячит, гремит в ночи наглым магнитофоном и грохочет сумасшедшим мотоциклом, а сейчас и на «мерседесах» гоняет.

О себе я ему, понятно, не рассказывал, и слава Богу, дня через три его забрали. И остался я один ждать пятого сокамерника, который вскоре появился.

Пятого звали Мишей, и был он, что называется, отпетый урка. Я такого первый раз видел, а сидеть мне с ним пришлось недели две, срок для тюрьмы немалый. Был он средних лет, среднего роста – средний, можно сказать, представитель преступного мира, что прячется в тёмных углах тёмного ночного города перед тем, как выйти на тёмный свой промысел. Впрочем, они и днём ходят, у кого какая метода.

Миша был весь какой-то серый, пустоглазый, глухоголосый. Я чувствовал исходящую от него неприязнь, но внешне он её почти не выказывал. Урки вообще довольно сдержанный народ, и любят закатывать свои психические номера в основном перед начальством. Он внимательно оглядывал меня своими хмуроватыми пустышками и спрашивал, спрашивал. Явно он работал на КГБ, видно, кое-что они пообещали ему. О своём деле говорил обиняками, но там проступало что-то серьёзное. Да и цементный пол нашей с ним камеры топтал он явно не в первый раз. Всех моих предыдущих сокамерников он считал стукачами, особенно злобно отзываясь о первых двух. Тут и национальная враждебность сквозила, позже прорвалось в нём:

«Знаю, как евреи воевали, пока мы в блокаду дохли, знаем, как они воевали в Ташкенте на солнышке». – «А ты в блокаду в Ленинграде был, что ли? Ты же говорил, что из

Кировска родом и жил там, вчера ещё говорил». – «Не я, так другие, такие, как я, какая разница».

Обращался он ко мне то на «вы», когда уговаривал передать с ним письмо на волю родным: «Я под каблук прилажу, век не догадаются», – то на «ты», когда я на эти уговоры не шёл, чуя подвох. К делу моему он относился полупрезрительно. «Что там стихи, кто их читает. Я вот сидел с профессором, он на Сталина бумагу писал, четыре года без приговора сидел, а потом десятку дали. Вот это политиканты, это настоящие». О прошлом вспоминал редко, было ощущение, что ни отца, ни матери у него отродясь не было, так и вылез в эковской робе из скважины в громоздких тюремных дверях. Власть не ругал, но обижался на неё за то, что неправильно она смотрит на «преступность мир», – так он говорил, льдисто глядя на меня своими пустыми глазами. «Надо человеку дать работу и жильё, когда он освободился. Куда же нам податься, коли баба не дождалась, куда идти? Так во век не изведётся преступность мир, да власти и надо, чтобы мы воровали, чтобы было, за что ментам хлеб есть».

О женщинах говорил мало, всё вспоминал со смехом, как пили водку под солёные огурцы на хате с бабами, а потом, говоря его словами, совали им в м... огурец. «Как дашь по брюху, он раз – и в потолок, вот смеху было, раз – и в потолок, так и скачет, а то в стену. Целую ночь пуляли».

Но главный разговор у нас с Мишей был о письме на волю. Так он старался меня убедить, так упорно доказывал необ-

ходимость своей услуги! Но я нутром чуял, что тут КГБ замешан, и ни за что не соглашался, а урка мой злился и хмурился. В конце концов, выйдя на волю, он звонил моим родителям (телефон следователи дали), настаивал на встрече с моим отцом, но дома тоже почуяли неладное, уклонились от свидания.

Так и ушёл от меня пустоглазый вор Миша навстречу своей привычной мятой-перемятой судьбе, то прячущейся по тёмным углам тёмного города, то мельтешащей за густыми решётками питерских тюрем.

* * *

Я не помню – его привели ко мне в камеру или меня подсадили с вещами к нему, но первые слова, обращённые ко мне, не забуду никогда: «Давай сразу договоримся – есть каждый будет своё, передачи делить не станем». Меня это удивило – не по-зэковски как-то, даже воры такого не говорили, но что ж – не делить, так не делить.

Был он выше среднего роста, пожалуй, красив какой-то мягковатой, полувосточной красотой, что встречается порой у кавказского племени. Он и был армянин по отцу, и фамилия его была армянская. Вскоре услышал я его историю. Был он без пяти минут кандидат наук, занимался экономикой Индонезии, знал иностранные языки. Жил один вольной жизнью избалованного женщинами холостяка, но при этом

мыслил, что для советского человека, а тем паче интеллигента, было в те времена строго наказуемо.

В 1964 году послал он во владивостокский обком КПСС письмо, предупреждал о китайской опасности – а дело знал не с чужих слов, изучал Китай подробно. Как раз незадолго до нашей с ним посадки предвидение его подтвердилось, китайцы напали на нас – все помнят бои на Даманском.

Позже посылал он письма, протестуя против ареста Гинзбурга и Галанкова, разбрасывал листовки собственного сочинения. КГБ вычислил его по номеру университетской пишущей машинки, на которой он отстукивал свои послания. Это был первый встреченный мной настоящий диссидент, т. е. моего поля ягода, и я смотрел на него поначалу, чуть не раскрыв рот.

Выглядел он молодо, но оказался старше меня лет на десять. КГБ разрушил его жизнь и карьеру. Дали ему 3 года, и отдельной своей квартиры он лишился, остался без крыши над головой, как, горестно жестикулируя, выкрикивал он, без конца маяча по камере туда-назад, туда-назад. Научная работа рухнула, диссертация осталась незащищённой, а впереди лагерь и безвыходная судьба советского бомжа после. Он часто оплакивал свою жизнь, и я сочувствовал ему, хоть и самому пришлось несладко. Но сидеть с ним было тяжело. Он не стеснялся физиологических отправок, а в камере такое особенно неприятно. Мог съесть целую головку полученного от родных чеснока, бормоча: «Витамины, вита-

мины». Когда я однажды сказал ему, что так нехорошо, он ответил: «Но ты должен быть благодарен мне – я ведь не курю». То, что и я не курил, воспринималось как должное.

Наблюдая за ним (а сидели мы вдвоём чуть не месяц), я понимал, что в нём сошлись многие достоинства и недостатки советского интеллигента-диссидента, достоинства духовно-идеологические, недостатки – человеческие. Такие люди потом встречались мне часто, но он был первым.

Некоторые мысли его порой потрясали меня новизной. Например, о том, что XIX век своими теориями определил практику XX века, что Маркс и Ницше породили страшного двуглавого дракона нашего времени, и он едва не пожрал землю. Говорил он умело, слушать его было интересно. Но начинал он маячить по камере, начинал свои полуистерические сетования, и куда-то пропадали ум и красноречие, оставался слабый и тяжёлый в быту человек.

Я потом видел его в лагере, там он был таким же, как в камере, хотя несколько ожил, уйдя из тюремных стен на тропинки вдоль колючей проволоки. В Питере после освобождения он вначале мыкался, пришлось ему жить в области по общежитиям, потом приютила его вдова брата. В конце концов при Горбачеве добился он реабилитации, дали ему отдельную квартиру, сумел он защитить свою диссертацию. Я радовался за него, как и за всех нас, хлебнувших тюрьмы и концлагерей и вдругждавшихся свободы, но пришло это многим под старость, и вспоминать прошлое тем горше. Да

и свобода оказалась не той, что грезилась за перепутанной между лагерных столбов колючкой.

* * *

Седьмым был тот, кого я меньше всего ожидал в тюремной камере, – иностранец, полунегр, почти не говорящий по-русски, небольшого роста, молодой, лет двадцати пяти. Кое-как он поведал мне свою историю, мешая испанские, русские и всякие прочие слова, помогая себе жестами. Родился он в Колумбии в семье служащего, учился в школе, но позже заразился марксистскими идеями, благо Куба от Колумбии близко. Это его и свихнуло. Решил он бежать в Советский Союз – на родину социализма, чтобы подсобить его, социализм, строить. Однажды ночью в порту пробрался на советский корабль, который грузился колумбийским кофе, проник в трюм и затаился там. Так и отплыли с ним в моря-океаны. Запасся немудрёной едой и, как был в сандалиях и рубашке, так и засел среди бочек и ящиков. Через несколько дней, когда кругом вздымались и громоздились волны, и кроме неба и моря ничего не было, объявился на палубе. Дальнейшее понятно как дважды два – четыре. Увы, Максимки из него не получилось – не те времена, не те нравы, привезли его в город Ленинград и сразу в следственный изолятор КГБ – так сказать, в самое сердце социализма. Статья за незаконный переход границы – до трёх лет, и никаких по-

блажек.

Вот тут-то начал он вздымать к тюремному потолку руки и стенать: «О, турма! О, турма, турма!» Слушал я эти стоны по несколько раз на дню три месяца подряд – ни больше, ни меньше, пока его не увели в другую камеру. Сидеть с ним было невесело. Разговор, если это можно так назвать, был однообразен и малосодержателен. Теперь он ругал Советский Союз и социализм, и это, пожалуй, единственное, что примиряло меня с ним и придавало смысл его побегу из Колумбии и всей этой дурацкой истории.

Сидел он без передач, без книг, одну только какую-то книжонку на испанском сунули ему, он её прочел за день-два, а потом всё перечитывал. Я делился с ним едой, но поговорить мне было не с кем. Он что-то пытался мне рассказывать, что-то я ему – ведь три месяца, девяносто дней, но древнее проклятие, павшее на строителей Вавилонской башни, тяготело над нами. Я просил перевести меня, пересадить его, обещали, но дни шли, мы не разлучались. Он называл имена колумбийских поэтов – это меня радовало, не самый тёмный колумбиец мне попался, пытался рассказать, как на Амазонке их лодка, где он плыл с индейцем (зачем и куда, я не понял), чуть не попала в водоворот, а рядом разевали пасть крокодилы, но Бог спас, отнесло от опасного места. Объяснял, больше пальцами, как хорошо было в Колумбии, какие там хорошие люди. «А что же ты на Кубу не сбежал, к Кастро, это ведь ближе?» – спрашивал я, мучительно жестикули-

руя. – «Нет, нет, Куба нет, я хотел Советский Союз». – «Но социализм везде один, Кастро – Брежнев – баланс», – делал знаки я. «Да, да, баланс, но Советский Союз – центр, большой, Куба – мизер, Ленин нет, Кастро». – «А сейчас тюрьма, Ленинград – тюрьма», – говорил я. – «Да, турма, турма, о, турма, турма», – и начиналось воздымание рук и стоны, а сидел он на железной койке по-турецки, и она стенала и вздрагивала вместе с ним.

Жалость мешалась во мне с раздражением, которое я с трудом подавлял, но каждый день почти повторялось одно и то же, те же сетования на баланду, на зарешеченные окна, на не знающих испанского языка надзирателей, на всю свою своими же руками исковерканную жизнь. И радостен был день, когда увели его, наконец, в другую камеру или на волю – не знаю. Да это и не слишком волновало меня. Я так устал от него, что готов был на любого сокамерника – только бы он говорил по-русски.

* * *

Наступил новый, 1970 год, год полностью тюремный, уже прошёл суд, я знал уже свой срок – 4 года лагеря и 2 ссылки, пережил момент приговора, когда слова судьи падали на грудь, как камни, по точному слову Ахматовой. И как раз в это время, в январе, когда увели от меня, наконец, колумбийца, я оказался в камере не с одним, как раньше, а с дву-

мя сокамерниками разом. Это были уже знакомые мне по скамье подсудимых два вора Ц. и Р. КГБ пристегнул их к нашему с Брауном стихотворно-словесному политическому делу, воспользовавшись следующим обстоятельством. Ещё в 1967 году М., В. (знакомые Брауна), а также Ц. и Р., переодевшись милиционерами, организовали мошеннический обыск у родственницы Ц., старой еврейки, вдовы гинеколога, куда навёл их никто иной, как сам Ц. Награбили они у родственницы Ц. много, она никуда не заявляла, всё бы сошло с рук, но через год М. попал в Кресты по другому делу и, сидя в камере, разболтал сотоварищам-стукачам обо всей этой операции в подробностях, да ещё об антисоветчике Брауне наплёл. Так и сплелась наша с Брауном судьба с воровской судьбой упомянутой компании. Причём, вор-рецидивист Р. (для него теперешняя «ходка» была четвёртой) возмущался, что его посадили на одну скамью подсудимых с антисоветчиками Брауном и Бергером. КГБ всё это свалил в одну кучу, чтобы и нас опорочить, и себе набить цену – вот, мол, как работаем, всё можем.

Но вернёмся, как говорил Панург, к нашим баранам, то есть в камеру.

Ц. – высокий, сутуловатый, бородатый еврей лет тридцати, Р. того же возраста, среднего роста крепыш с уверенными движениями и быстрой походкой. На суде они держались уверенно. Ц., проникновенно глядя на судью Исакову – тяжеловатую немолодую женщину, сидевшую на своей папер-

ти, подперев кулаком полный подбородок, – говорил «Все мои беды начались с того, что покинул я родной завод», и Исакова медленно кивала головой. Р. валил всё на мытарства после очередной отсидки. Получили они Р. – 6 лет, Ц. – 3 года и были страшно довольны. «Паровозом» шёл Коля Браун – 7 лет лагеря и 3 года ссылки по ст. 70, а у воров и статьи были воровские, и сроки меньше наших.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.